

Генрих Али Баба

РЕЗОНАНС

ЕСТЬ ТАЙНЫ, КОТОРЫЕ
НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ПОНЯТЫМИ.
ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ УСЛЫШАНЫМИ.



ДЕЛО № ORPHEUS-7

СЕКРЕТНО

СТАНЦИЯ «ОРФЕЙ»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ

ДОПУСК: ОМЕГА
 Ω

масса — ?
плотность — ?
источник — ?
форма — ?
сознание — ?
ВОЗМОЖНО.

КОСМОЛОГИЯ ИСКАЖЕНИЙ
КВАНТОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ
КОНТАКТ: ПРОТОКОЛЫ ПЕРВОГО ТИПА

ЧАСТОТА: НЕИЗВЕСТНА

Генрих Апи Баба

Резонанс

«Автор»

2026

Апи Баба Г.

Резонанс / Г. Апи Баба — «Автор», 2026

«Резонанс» — это научно-фантастическая история о первом контакте, который происходит не между цивилизациями, а между сознаниями. О границе между чудом и иллюзией. О цене желания вернуть прошлое. О любви, которая не способна отменить страдание, но способна придать ему смысл. Это история о том, как человек пытается понять чужой разум — и неожиданно обнаруживает, что всё это время Резонанс пытался понять человека. И, возможно, самый важный вопрос этой книги звучит совсем просто: если тебе дадут возможность получить обратно то, что ты потерял, хватит ли у тебя сил спросить — действительно ли ты хочешь этого?

© Апи Баба Г., 2026

© Автор, 2026

Генрих Апи Баба

Резонанс

ЧАСТЬ I. ДАР

Глава 1. Станция «Орфей»

Когда Андрей Воронцов впервые увидел Резонанс, он решил, что аппаратура неисправна.

Не страх. Не восхищение — во всяком случае, не сразу. Просто профессиональное недоверие человека, привыкшего верить приборам больше, чем собственным глазам. Иллюминатор занимал почти всю стену обзорного отсека — от палубы до подволока, — и за толстым, чуть желтоватым от возраста стеклом медленно вращалась тьма.

Не пустота космоса. Андрей достаточно налетал, чтобы отличить одно от другого. Пустота космоса — это россыпь звёзд, холодный колодец без дна, в котором всё-таки что-то есть. А здесь было именно отсутствие. Как будто кто-то взял скальпель, аккуратно вырезал из Вселенной кусок пространства — и залил рану чернотой, которая не отражала даже собственное отсутствие света.

— Красиво, правда?

Он обернулся слишком резко — плечом задел раму иллюминатора. В дверях стояла женщина в сером комбинезоне станции, невысокая, с коротко остриженными, тронутыми сединой волосами. Она смотрела не на него — на объект за стеклом, — и в её усталых глазах не было ни намёка на благоговение. Только глаза человека, который слишком долго смотрел на одно и то же, чтобы удивляться.

— Если честно, — сказал Андрей, — я ожидал чего-то другого.

— Все ожидают. — Уголок её рта дрогнул — не улыбка, скорее её призрак. — Обычно проходит около недели.

— Что проходит?

— Ожидание, что оно окажется красивым.

— И что это? — Андрей кивнул на черноту за стеклом.

— Если узнаете, — она наконец повернулась к нему, — сообщите мне первой. У меня с этим объектом контракт длиннее, чем с бывшим мужем.

Так Андрей познакомился с Ириной Громовой — начальником исследовательской станции «Орфей», человеком, который, как он узнает позже, шутил только о самом страшном.

Станция висела на орбите объекта уже четыре года. За это время через её шлюзы прошли сотни специалистов: физики, математики, нейробиологи, лингвисты, психологи — целые дисциплины, призванные, как рыболовные сети, в надежде, что хоть одна зацепит что-то осмысленное. Каждая группа прилетала с уверенностью, что именно она найдёт ключ. Каждая улетала с новым, ещё более неудобным набором вопросов. А Резонанс — так его называли ещё первые исследователи, и название прижилось, хотя никто уже не помнил почему, — продолжал вращаться. Невозмутимо. Молча. Необъяснимо.

Андрей снова посмотрел в стекло. Объект не имел формы — по крайней мере, такой, которую способен удержать человеческий глаз. Мгновение он напоминал грозное облако. Потом — свёрнутый в шар океан. Потом — каплю чёрной воды, зависшую в падении и забывшую упасть. А иногда, если смотреть слишком долго, начинало казаться, что его вообще нет. Только лёгкое искривление пространства. Только ошибка зрения, усталость сетчатки.

Но приборы не ошибались. Вернее — ошибались все одновременно, и каждый по-своему. Гравитационные датчики видели одно. Квантовые — другое. Электромагнитные, оптические — третье и четвёртое. И ни один прибор не соглашался с показаниями соседнего. Физики ненавидели этот факт так, как ненавидят предательство.

Об этом Андрею рассказали уже на первом инструктаже — в конференц-зале, где над длинным столом медленно поворачивалась зернистая трёхмерная модель Резонанса, а холодный свет проекторов бросал на двадцать с лишним лиц одинаковую синеватую тень.

— Итак, — Ирина стояла у экрана, не глядя на него — она явно знала эту схему наизусть. — Для новых сотрудников повторю то, что вы должны были прочесть в файлах, но, зная людей, не прочли. Масса — неизвестна. Плотность — неизвестна. Источник энергии — неизвестен. Способ возникновения — неизвестен.

Несколько человек невесело улыбнулись — той улыбкой, которой улыбаются, услышав диагноз, а не шутку.

— Форма жизни? — спросил кто-то с заднего ряда.

— Неизвестно.

— Искусственный объект?

— Неизвестно.

— Следы технологий?

— Неизвестно.

— Сознание?

На этот раз Ирина задержалась с ответом на секунду дольше, чем нужно.

— Возможно.

Слово упало в зал и не разбилось — просто осталось лежать, слишком тяжёлое, чтобы его можно было поднять сразу. За последние сто лет человечество находило многое: ледяные океаны под чужими корами, атмосферы, пахнувшие серой, руины, чей возраст не укладывался в голову. Но ничего, к чему подходило бы слово «возможно» в применении к сознанию. Никогда.

На экране возникла новая запись — зернистая, с обычной меткой времени в углу. Обычная лаборатория, обычный стол, обычный исследователь — мужчина лет тридцати, что-то печатающий, разговаривающий с кем-то вне кадра. Потом его лицо начало меняться. Сначала удивление — брови вверх, рот приоткрыт. Потом что-то похожее на отказ верить собственным глазам. Потом — слёзы, внезапные, без всякого перехода, как будто кто-то повернул кран. Мужчина медленно поднялся со стула. Сделал один шаг вперёд, за пределы кадра.

— Папа?

Запись оборвалась.

Никто не произнёс ни слова. Даже вентиляция — Андрей мог поклясться — на мгновение стала тише, будто станция сама затаила дыхание.

— Что произошло дальше? — спросил кто-то хриплым голосом.

Ирина выключила экран. Отражение погасшего проектора ещё секунду держалось у неё в зрачках.

— Это и есть причина, по которой вы здесь. — Она помолчала, и в этой паузе Андрей впервые почувствовал, что перед ним не просто администратор станции, а человек, несущий что-то очень тяжёлое очень давно. — Через двенадцать минут после этой записи в лабораторию вошёл мужчина, умерший двадцать семь лет назад.

В комнате стало тихо так, как не бывает тихо в помещении с работающими системами жизнеобеспечения.

— Генетическое совпадение — сто процентов, — продолжила Ирина ровным, отработанным голосом человека, который произносил эти слова уже много раз и каждый раз находил в них новую степень абсурда. — Биологическая структура идентична. Личностная память соответствует архивным данным до мельчайших деталей.

— Клон?

— Нет.

— Реплика?

— Нет.

— Тогда кто?

Ирина обвела зал взглядом — медленно, как будто в самом деле искала ответ среди двадцати незнакомых лиц.

— Если бы мы знали ответ, — сказала она наконец, и в голосе впервые прорезалась усталость, не свойственная её должности, — станции «Орфей» не существовало бы. Незачем.

После инструктажа Андрей долго бродил по коридорам — просто чтобы не сидеть на месте. Станция оказалась куда больше, чем выглядела снаружи: белые переборки, мягкий рассеянный свет без единой резкой тени, ровный гул систем жизнеобеспечения, въевшийся в уши так, что его переставали замечать через день. Всё было устроено обыкновенно, почти уютно. Именно это и тревожило больше всего. Потому что за этими обыкновенными, чуть тёплыми на ощупь стенами находилось нечто, способное возвращать мёртвых, — и никто, ни один человек на станции, не понимал, как это работает.

Поздно вечером, когда коридоры опустели и свет автоматически притушили до «ночного» режима, Андрей снова пришёл в обзорный отсек. Станция спала — по крайней мере, притворялась. Резонанс медленно вращался во тьме за стеклом, безразличный к часовому поясу станции, к её распорядку, к самому понятию времени.

Он долго смотрел на объект — так долго, что перестал моргать, а глаза начали слезиться от сухого воздуха вентиляции. И вдруг ему показалось — на самой границе черноты, там, где взгляд уже готов был соскользнуть, — мелькнул свет.

Слабый. Почти неразличимый. Меньше, чем отблеск.

Как будто внутри тьмы что-то на мгновение открыло глаз — и тут же снова закрыло.

Андрей моргнул. Свет исчез. Он усмехнулся собственным мыслям — устало, снисходительно, как усмеваются люди науки над собственным суеверием. Переутомление. Долгий перелёт. Первый день, набитый чужими откровениями под завязку. Обычная физиология уставшего мозга, который достраивает узор там, где узора нет.

Он отвернулся от иллюминатора и пошёл к выходу, потирая переносицу.

И не увидел, как в глубине Резонанса, там, где мгновение назад гасла первая искра, вспыхнула вторая — едва уловимая, но чуть более уверенная.

Словно объект, никогда прежде не замечавший ничьего присутствия, только что — впервые за четыре года — заметил его.

Глава 2. Первый контакт

На станции «Орфей» не существовало протокола на случай появления возвращённых. Пытались написать — трижды. Комиссия по этике, комиссия по безопасности, наконец сама Ирина, ночью, судя по времени отправки черновика. Ничего не вышло: каждый случай происходил по-своему, а протокол требует повторяемости. Не было вспышек света. Не было скачков напряжения, о которых потом можно было бы написать в отчёте. Не было даже того, что инженеры называют «переходным процессом». Человек просто узнавал в какой-то момент, что в комнате он больше не один.

Андрей узнал об этом на четвёртый день.

Утро началось с sireны — короткой, деловитой, из тех, что не будят кровь адреналином, а просто заставляют насторожиться. По внутренней связи прошёл голос Ирины, ровный настолько, что сама эта ровность звучала как тревога:

— Всем сотрудникам сектора «С» просьба оставаться на местах. Ситуация под контролем.

На «Орфее» такие объявления означали одно: ситуация не под контролем, но её пытаются туда вернуть.

Когда Андрей добрался до сектора, у стеклянной перегородки уже собралась горстка людей — молчаливых, стоящих слишком близко друг к другу для случайной толпы. За стеклом была биологическая лаборатория. Посреди неё, в потёртом кресле для забора анализов, сидела

пожилая женщина и пила чай маленькими глотками, держа чашку обеими руками, — так пьют чай дома, у себя на кухне, а не в лаборатории на орбите чужой тьмы.

Рядом стоял Марк Левин, молодой астробиолог, которого Андрей знал по столовой — вечно взъерошенный, вечно с чужой чашкой кофе в руке, потому что забывал свою. Сейчас по его лицу текли слёзы, и он даже не пытался их вытереть.

— Кто это? — тихо спросил Андрей.

Ирина ответила не сразу — будто взвешивала, сколько правды выдержит новый сотрудник на четвёртый день работы.

— Его мать.

Андрей всмотрелся в женщину через стекло. Ничего сверхъестественного не находилось: усталые морщины у глаз, седина, чуть сутулые плечи человека, который всю жизнь наклонялся над чем-то — плитой, шитьём, чужими бедами. Живая. Настолько живая, что это и было самым страшным.

— Когда она умерла?

— Девятнадцать лет назад.

Пауза повисла между ними, как что-то физическое.

— Марк пришёл сегодня утром в лабораторию. Она уже была здесь.

— Просто появилась?

— Просто появилась.

За стеклом женщина что-то сказала сыну — Андрей не расслышал слов, только увидел, как дрогнули её губы. Марк рассмеялся. Не нервно, не истерически — тем особым смехом, каким смеются люди, которым вдруг, безо всякого предупреждения, вернули кусок собственной жизни, который они уже похоронили и оплакали.

Андрей отвёл взгляд.

Он ожидал шока. Паники. Криков, обмороков, вызова психиатра — набора реакций, который проходят на третьем курсе и потом наблюдают вживую всю карьеру. Вместо этого происходило нечто гораздо более опасное. Счастье. Чистое, без примеси сомнения, — то самое, которое человек за всю жизнь испытывает от силы несколько раз, и то не всегда узнаёт его в моменте.

Позже он присутствовал на интервью — сидел в углу, за спиной у психолога, стараясь не привлекать внимания. Женщина отвечала спокойно, подробно, иногда даже с лёгкой иронией, как отвечают люди, которых слишком долго ни о чём не спрашивали. Дата рождения. Девичья фамилия. Адрес квартиры, где выросла. Имя мужа. Имя сына — она произнесла его с такой нежностью, что у психолога дрогнул карандаш над блокнотом. Она помнила всё до момента смерти, в мельчайших деталях, вплоть до цвета штор в больничной палате. А дальше — ничего. Ни вспышки, ни коридора, ни света, о котором любят писать в книгах о загробном опыте. Просто палата. И потом — станция.

— Что вы чувствуете? — спросил психолог, и в его голосе Андрей услышал собственную растерянность, отражённую как в зеркале.

Женщина ненадолго задумалась, будто перебирала варианты ответа и выбирала самый точный.

— Радость.

— И всё?

— А должно быть что-то ещё?

Никто не нашёлся, что сказать. Андрей понял, что и сам не нашёлся бы.

Через два дня появился второй возвращённый. Потом третий. Потом сразу четверо за одну ночь, будто что-то там, снаружи, вдруг решило наверстать упущенное время. Станция начала меняться на глазах — медленно, но заметно, как меняется дом, когда в него въезжают новые жильцы. По коридорам теперь ходили люди, которых не было в списках экипажа: погиб-

шие мужья и жёны, друзья детства, родители, однажды — ребёнок, о котором никто на станции даже не знал, что он умер. Иногда возвращались те, кого считали мёртвыми официально, со свидетельством и датой. Иногда — те, кто просто когда-то исчез из жизни без объяснений, и это оказывалось едва ли не хуже. Но закономерность была одна и та же, железная, без исключений: Резонанс никогда не возвращал случайных людей. Только тех, кто оставил рану. Только тех, забыть которых оказалось попросту невозможно, сколько бы лет ни прошло.

Однажды вечером Андрей сидел в столовой над остывающим супом. За соседним столиком двое инженеров — один рассказывал другому про брата, появившегося накануне, и в его голосе было столько тепла, что Андрей невольно прислушался. И тут заметил странность, которая давно, видимо, копилась на периферии внимания: никто больше не говорил о работе. Об открытиях. О приборах, которые противоречат друг другу. Все разговоры, во всех углах столовой, крутились вокруг одного — вокруг тех, кто вернулся. Станция, построенная как научный форпост на краю необъяснимого, медленно переставала быть научным форпостом. И становилась чем-то другим. Местом, где исполняются желания.

Эта мысль ему активно не понравилась. Настолько, что на следующий день он выпросил у Ирины доступ к архивам — сотням отчётов, тысячам часов наблюдений, накопленным за четыре года чужого, до него, изучения объекта.

Закономерность нашлась быстро. Слишком быстро для того, что она означала. Через несколько недель после появления возвращённого большинство людей начинали меняться — незаметно для себя, заметно для статистики. Меньше работали. Меньше спали. Реже покидали жилые секции. Почти всё свободное время проводили рядом со своими гостями, будто боялись, что стоит отвернуться — и чудо схлопнется обратно в небытие. Ничего катастрофического. Пока. Но график в углу экрана — обычный, скучный график производительности — полз вниз с упрямством, от которого у Андрея похолодело в животе. Что-то медленно смещало центр тяжести человеческой жизни. Из будущего — в прошлое. Из того, что ещё предстоит, — в то, что уже случилось и было милосердно исправлено.

Он засиделся в архивном отсеке дольше, чем планировал. Когда наконец вышел в центральный коридор, станция уже переключилась на ночной режим — свет потолочных панелей приглушили до тёплого, почти медового оттенка, и в этой полутьме гул систем жизнеобеспечения казался особенно ровным, особенно живым, как чужое дыхание за стеной.

Коридор был пуст. Или почти пуст.

Возле обзорного окна, спиной к Андрею, стояла девочка. Лет восьми, не больше — тонкая фигурка в простом светлом платье, слишком лёгком для прохладного воздуха станции. Она смотрела на Резонанс так, как смотрят на что-то давно и хорошо знакомое.

Андрей замедлил шаг.

На станции не было детей. Он знал это твёрдо — списки экипажа, списки прибывших, ежедневные сводки, которые он теперь читал внимательнее, чем собственную почту. Ни одного ребёнка. Ни разу.

Девочка обернулась — плавно, без всякой спешки, как будто почувствовала его взгляд раньше, чем услышала шаги. Несколько долгих секунд они просто смотрели друг на друга через пустой коридор. Потом она улыбнулась — очень грустно, совсем не по-детски, — и спросила:

— Он уже начал тебя слушать?

Голос у неё был тихий, ровный, лишённый того особого детского звона, который обычно прошивает такие фразы насквозь.

— Кто? — переспросил Андрей, чувствуя, как по спине медленно, по одному позвонку, поднимается холод.

Девочка кивнула в сторону иллюминатора. За стеклом всё так же неторопливо клубилась чёрная масса, безразличная, как всегда.

— Он всегда слушает.

Она отвернулась и пошла дальше по коридору — неспешно, будто прогуливаясь, — и свернула за угол.

Андрей пошёл следом. Не бегом — что-то в нём отказывалось бежать, как будто бег придал бы происходящему слишком много реальности. Он завернул за тот же угол через три, может быть, четыре секунды.

Коридор был пуст. Совершенно, идеально пуст — ни бокового прохода, ни двери, в которую можно было бы юркнуть за такое время, ни ниши, где можно спрятать восьмилетнего ребёнка. Только ровный медовый свет, ровный гул вентиляции и его собственное дыхание, вдруг ставшее слишком громким.

Вернувшись в каюту, он первым делом поднял внутреннюю базу станции — фотографии, данные, все зарегистрированные возвращённые до единого. Ни один не соответствовал описанию девочки. Ни отдалённо. На станции вообще не было запротоколировано ни одного ребёнка, живого или вернувшегося.

Андрей долго сидел перед погасшим экраном, слушая, как за переборкой тихо гудит станция. За иллюминатором медленно вращался Резонанс, вечный и безучастный. И тогда его посетила мысль, которую он тут же попытался задавить, — привычно, как давят непрошеное суеверие. Что если возвращённые — не единственное, что производит этот объект? Что если Резонанс уже делает нечто большее, чем просто вынимает мёртвых из прошлого и ставит их посреди настоящего? И что если люди — счастливые, отвлечённые, занятые заново обрётённой любовью — до сих пор этого попросту не заметили?

Той ночью он не спал почти до утра.

А далеко за обшивкой станции, в беззвучной черноте, которая не была пустотой, Резонанс продолжал своё медленное, неторопливое вращение — так, как будто у него было всё время вселенной. Так, как будто он терпеливо ждал, пока Андрей сделает следующий шаг.

Глава 3. Лея

На восьмой день Андрей начал замечать закономерность, которая раздражала его профессионально даже больше, чем пугала. Все разговоры на станции — какими бы они ни начинались — рано или поздно скатывались к одному-единственному вопросу. Не к происхождению Резонанса. Не к природе сознания, не к физике аномалии, из-за которой сюда слетелись лучшие умы системы. К ожиданию.

Ждали все. Даже те, кто уверял, что относится к происходящему со здоровым скепсисом. Даже те, кто продолжал называть возвращённых «аномалией» с профессиональной, отстранённой интонацией. Даже те, кто по-прежнему работал по восемнадцать часов в сутки, будто ничего не изменилось. Резонанс никогда не действовал сразу — иногда проходили дни, иногда недели, — но рано или поздно он находил человека. И тогда случалась встреча.

Андрей говорил себе, что его это не касается. Он психолог. Профессионал. Человек, который прекрасно понимает механизмы ожидания — как надежда конструирует иллюзии из ничего, как истосковавшийся мозг с готовностью дорисовывает узнаваемые черты в случайном шуме. Именно поэтому в тот вечер, открыв дверь собственной каюты, он не поверил своим глазам. Позволил себе не поверить — на целых три секунды, которые растянулись, кажется, на отдельную маленькую вечность.

За столом сидела женщина. Свет настольной лампы падал сбоку, вырезая из полумрака знакомый профиль: скулы, которые он мог бы нарисовать вслепую; тёмные волосы, упавшие на плечо ровно так, как падали всегда, стоило ей наклонить голову над книгой; тонкие пальцы, придерживающие страницу. Она читала с его планшета — и Андрей, ещё не в силах ни вдохнуть, ни отступить, каким-то краем сознания успел узнать обложку. Та самая книга. Та, что она когда-то любила так, что могла цитировать наизусть целыми абзацами за завтраком, не отрываясь от кофе.

Она подняла глаза. Улыбнулась — не удивлённо, не испуганно, а так, будто просто ждала, когда же он наконец вернётся домой.

— Привет, Андрей.

Внутри у него что-то оборвалось — тихо, без звука, как обрывается натянутая слишком долго нить. Он стоял в проёме, не дыша, не двигаясь, не позволяя себе ни одной связной мысли, потому что перед ним была Лея. Не фотография с планшета, которую он так и не удалил за одиннадцать лет. Не сон, из которого он просыпался с сухим горлом и тяжестью в груди. Женщина, чей уход разрезал его жизнь на две неравные части — «до» и «после» — так аккуратно, что он до сих пор жил во второй, даже не заметив, когда это произошло.

— Ты выглядишь так, — сказала она, закрывая книгу пальцем, чтобы не потерять страницу, — будто увидел привидение.

Андрей медленно отступил в коридор. Закрыв дверь. Постоял, глядя на собственную ладонь на панели замка, слушая, как колотится сердце где-то в горле. Открыл снова.

Она никуда не делась. Всё так же сидела за столом, наблюдая за ним с той же лёгкой, чуть настороженной улыбкой, с какой смотрят на человека, вернувшегося с похорон раньше, чем ждали.

Тогда включился профессионал — тот, кто привык проверять факты прежде, чем позволить себе чувствовать.

— Кто ты?

Вопрос прозвучал грубее, чем он хотел. Она слегка нахмурилась — эта морщинка между бровей тоже была абсолютно, до боли настоящей.

— Лея.

— Нет.

— Тогда я не понимаю вопроса.

Он подошёл ближе, чувствуя, как гулко отдаётся собственный пульс в кончиках пальцев. Начал спрашивать — методично, как на допросе, хотя голос предательски дрожал. Дата рождения. Имя матери. Город, где прошло детство. Название кафе на углу, где они впервые заговорили из-за пролитого кофе и его неуклюжих извинений.

Ответы приходили мгновенно. Без запинки, без единой ошибки, без того характерного колебания, с которым человек вспоминает даже собственную биографию. Она помнила всё. Абсолютно всё — включая то, что успел забыть даже он сам, и от этого по спине пробежал холод похуже прежнего.

Через час Андрей уже сидел в медицинском отсеке, за стеклянной перегородкой, наблюдая, как Лея — спокойная, собранная, будто её привели на плановый осмотр, а не на допрос собственной природы, — подставляет руку для очередного забора крови. Анализы шли один за другим: кровь, ткани, генетика, неврология. Результаты приходили сплошным потоком на планшет главного врача, и с каждым новым отчётом Андрею становилось не легче, а тяжелее — потому что каждый следующий подтверждал предыдущий.

Человек. Полностью, безоговорочно человек. Ни малейшего следа искусственного происхождения. Ни одного маркера подделки, синтеза, репликации — вообще ничего, за что можно было бы зацепиться, как за спасительную соломинку.

На несколько секунд он даже испытал что-то похожее на облегчение. А потом понял, насколько абсурдна эта мысль: если она человек — во плоти, в крови, в идентичном ДНК, — проблема становится не легче, а в разы страшнее. Потому что тогда необходимо объяснить невозможное, а не просто списать его на технологию, которую пока не понимают.

Поздно ночью они остались в каюте вдвоём. Свет притушили до дежурного минимума; за тонкой переборкой глухо гудела система жизнеобеспечения. Лея стояла у иллюминатора — тонкий силуэт на фоне медленно вращающейся черноты — и долго молчала, прежде чем тихо спросить, не оборачиваясь:

— Это из-за него?

Андрей не ответил. Не потому, что не знал — потому что боялся, что голос выдаст больше, чем он готов показать.

— Люди говорят обо мне так же, как о других, — продолжила она.

— О других?

— О тех, кто вернулся.

Слова прозвучали ровно. Слишком ровно — с той нарочитой спокойной интонацией, которую Андрей слишком хорошо знал по собственной профессии: так говорят люди, готовые услышать страшный диагноз и заранее решившие не плакать.

— Ты понимаешь, что происходит? — спросил он.

Она долго молчала, глядя в стекло.

— Нет.

Потом коснулась ладонью холодной поверхности иллюминатора — жест настолько простой и человеческий, что у Андрея снова перехватило дыхание.

— Но мне кажется, что он знает.

Холодок пробежал у него между лопаток.

— Кто?

Она едва заметно кивнула в сторону клубящейся тьмы за стеклом.

— Тот, кто там.

За иллюминатором царила всё та же безликая, неподвижная темнота. И всё же именно в эту секунду Андрею впервые по-настоящему показалось, что объект действительно наблюдает. Не за станцией. Не за человечеством в целом. Конкретно за ними. Конкретно за Леей.

И тут он понял ещё кое-что — то, что ускользало от него весь вечер, спрятанное за собственным потрясением. За все эти часы она ни разу не спросила, как оказалась здесь. Ни разу не удивилась собственному появлению из ниоткуда, спустя одиннадцать лет после смерти. Ни разу не испугалась. Будто какая-то часть её уже знала ответ на этот вопрос — знала и молчала.

Именно эта мысль не дала ему уснуть до утра.

Потому что впервые с момента прибытия на станцию Андрей испугался не Резонанса. Он испугался самого себя — той части, что была готова принять чудо без единого вопроса. Принять Лею как есть, без объяснений. Оставить сомнения за дверью. Перестать быть учёным хотя бы на одну ночь и просто радоваться тому, что она снова здесь, дышит, хмурится, помнит название кафе на углу.

И где-то очень глубоко, в том слое сознания, который не гаснет даже под утро, он уже понимал простую и оттого особенно страшную вещь: если существует сила, способная дать человеку то, чего он хочет больше всего на свете, — именно в этот момент, в момент абсолютного счастья, и начинается настоящая опасность.

Глава 4. Подарок

Если бы кто-то попросил Андрея назвать самый счастливый месяц в истории станции «Орфей», он назвал бы этот, не задумываясь ни на секунду.

Это будет потом. Гораздо потом, когда счастье уже начнёт внушать ему настоящий, липкий страх. А тогда, в те недели, всё выглядело иначе — так, как выглядит дом после долгой зимы, когда кто-то наконец открывает все окна разом.

Станция будто очнулась ото сна. Ещё две недели назад её коридоры несли на себе печать научного форпоста на самом краю непознанного: люди двигались быстро, говорили коротко, вечно куда-то спешили, будто время само по себе было ресурсом, который вот-вот кончится. Теперь всё изменилось. Люди улыбались просто так — не потому, что случилось открытие не потому, что решилась застарелая проблема с датчиками, а потому, что рядом снова оказались те, кого они давно оплакали и похоронили в памяти под грифом «навсегда».

В столовой стало шумнее. Смех звучал чаще и легче — не натужный смех уставших людей, а тот, что вырывается сам, без спроса. Впервые за долгое время сотрудники начали собираться вместе не по расписанию смен: появились совместные ужины, вечера воспоминаний, импровизированные концерты, на которые набивалось полстанции. Даже старый астрофизик Карл Шульц — человек, которого все давно записали в угрюмые затворники, — однажды сел за расстроенное пианино в углу столовой и играл почти два часа подряд, не останавливаясь, будто боялся, что стоит поднять руки от клавиш — и всё исчезнет. Причина сидела рядом, в третьем ряду пластиковых стульев: его жена, умершая двенадцать лет назад. Она слушала, сложив руки на коленях, и улыбалась — тихо, почти неподвижно, как слушают музыку, которую уже не надеялись услышать снова. Карл играл так, как играют в двадцать лет: размашисто, неточно, с избытком чувства, которого хватило бы на десятилетия.

Андрей наблюдал за этим из дальнего угла, со стаканом остывающего чая в руках, и чувствовал странное, необъяснимое сопротивление где-то под рёбрами. Картина была слишком прекрасной. Настолько прекрасной, что в этой прекрасности начинало мерещиться что-то нездоровое — как в слишком ровной температуре тела, которая на самом деле означает, что термометр сломан, а не что пациент здоров. Но объяснить это ощущение он не мог даже себе. Даже собственные мысли начинали казаться ему жестокими. Разве плохо, что люди счастливы? Разве плохо вернуть утраченное хотя бы ненадолго? Разве плохо прекратить чужую боль, если у вселенной вдруг нашёлся на это способ? Ответов не находилось. Только неприятный холодок где-то на дне желудка, который не желал таять даже от тёплого чая.

Лея тем временем всё увереннее осваивалась на станции — куда увереннее, чем осваивается человек, впервые увидевший это место одиннадцать лет спустя после собственной смерти. Она легко находила общий язык с людьми, помнила имена с первого раза, запоминала детали чужих разговоров, интересовалась историями людей, которых видела впервые в жизни. Иногда Андрею казалось — и эта мысль каждый раз царапала где-то глубоко, — что она знает окружающих лучше, чем они сами себя знают.

Однажды он застал её в библиотечном секторе — она сидела напротив матери Марка Левина, и они тихо обсуждали книги, стоящие на полке между ними. Ничего необычного в этой сцене не было, пока в какой-то момент женщина вдруг не расплакалась — не от горя, а от того особого облегчения, которое накатывает, когда наконец отпускает то, что годами держало за горло. Лея просто взяла её за руку. Не сказала ни слова. И этого оказалось достаточно.

Позже Марк признался Андрею в коридоре, неловко потирая шею:

— Странно.

— Что именно?

— После разговора с ней мама стала спокойнее. Будто из неё вытащили что-то тяжёлое. Занозу, которая там всю жизнь сидела.

Андрей промолчал. Не потому, что не знал, что ответить, а потому что уже слышал похожее от слишком многих людей, чтобы списать это на совпадение. Возвращённые каким-то образом приносили окружающим покой. Не счастье — что-то глубже и тише счастья. Словно рядом с ними старые раны переставали ныть, даже если сами эти раны никак не были связаны с возвращением.

Через несколько дней станцию посетила комиссия с Земли — чиновники в отглаженных костюмах, эксперты с планшетами, военные наблюдатели с непроницаемыми лицами. Судя по их вопросам ещё на этапе стыковки, они ожидали увидеть кризис: истерики, конфликты, требования эвакуации. Вместо этого обнаружили почти идеальное сообщество. Минимальный уровень конфликтов. Практически нулевую агрессию. Психологические показатели — лучшие за всю историю дальних экспедиций человечества, если верить сухим цифрам в итоговом отчёте. Один из членов комиссии, невысокий мужчина с уставшими от перелёта глазами, даже пошутит за общим столом:

— Похоже, вы тут построили первую настоящую утопию в космосе.

Все рассмеялись. Кроме Андрея.

Потому что он уже начал замечать детали — маленькие, почти неразличимые на общем фоне всеобщего благополучия, но от этого не менее тревожные. Люди всё реже говорили о будущем. Они говорили о прошлом: о том, что когда-то потеряли, о том, что теперь чудом вернулось, о том, как хорошо стало жить. Но почти никто больше не строил планов. Не спорил о перспективах проекта. Не обсуждал, что будет через год, через пять лет, через десять. Будущее как категория, как то, ради чего вообще стоит вставать по утрам, постепенно теряло вес — незаметно, как теряет вес медленно сдувающийся шар.

Особенно ярко это проявилось на научном совещании, где обсуждалась программа исследований на следующее полугодие. Обычно подобные встречи были шумными: гипотезы сталкивались лбами, коллеги спорили до хрипоты, кто-то обязательно уходил, хлопнув дверью. На этот раз в зале царило безразличие — не враждебное, не ленивое, а какое-то умиротворённо-спокойное, как будто сроки давно перестали иметь значение и торопиться теперь было попросту незачем.

После заседания Андрей задержался в опустевшем зале. Смотрел на ряды пустых кресел, на светящийся экран с незавершённым планом исследований, брошенным на середине фразы. И вдруг с ясностью, неприятно похожей на озарение, понял: за последние недели никто ни разу не задал главный вопрос. Что такое Резонанс? Станция, построенная специально для того, чтобы разгадать эту загадку, постепенно переставала интересоваться самой загадкой. Люди получили ответы на куда более личные, куда более насущные вопросы. И этого оказалось более чем достаточно, чтобы забыть, зачем они вообще сюда прилетели.

Вечером он рассказал об этом Лее. Они сидели в обзорном отсеке — том самом, где всё началось, — и за толстым стеклом медленно клубилась чёрная масса Резонанса, безучастная, как всегда. Лея слушала долго, не перебивая, потом спросила, не отрывая взгляда от тьмы за иллюминатором:

— А если бы тебе предложили выбор?

— Какой выбор?

— Понять его. Или вернуть всё, что ты потерял.

Андрей не ответил сразу. Вопрос оказался слишком точным — слишком похожим на скальпель, направленный ровно туда, где болит сильнее всего.

— Учёный должен выбрать понимание, — произнёс он наконец, стараясь, чтобы голос звучал твёрже, чем он себя чувствовал.

Лея слегка улыбнулась — той грустной полуулыбкой, которая, как он уже успел заметить, появлялась у неё всякий раз, когда разговор подходил слишком близко к правде.

— А человек?

Ответа не нашлось. Он и не искал его вслух.

Они сидели молча, плечом к плечу, и где-то далеко за пределами станции миллионы километров ледяной пустоты окружали крошечный, тёплый, освещённый островок человеческой жизни. А внутри этого островка люди были счастливы — возможно, счастливее, чем когда-либо прежде за всю историю вида. И именно поэтому, глядя на эту тьму, Андрей впервые за всё время существования станции ощутил перед Резонансом настоящий, взрослый страх.

Потому что зло, которое учили распознавать в академиях, обычно приходит как угроза, как выстрел, как крик в темноте.

А это пришло как подарок.

Глава 5. Соблазн

Перемены начались настолько незаметно, что большинство сотрудников станции попросту не заметило их — во всяком случае, не сразу. Даже Андрей, чья профессия обязывала его замечать именно такие вещи, спохватился далеко не в первый день.

Первым тревожным звоночком стал доктор Левин.

Тот самый молодой астробиолог, к которому вернулась мать, — человек, который прежде приходил в лабораторию раньше всех и уходил последним, способный часами с пеной у рта спорить о погрешностях данных, — теперь всё чаще пропускал смены. Не из-за болезни. Он просто говорил, не поднимая глаз от планшета: «Мы наверстаем позже», — и в его голосе не было ни капли вины, только лёгкая, почти безмятежная рассеянность. Но «позже» упрямо не наступало.

Затем Андрей начал замечать сбои в расписании самой станции. Технические отчёты сдавались с опозданием на день, на два, потом на неделю. Эксперименты откладывались «до следующего понедельника», который незаметно превращался в «следующий месяц». Совещания сокращались с двух часов до сорока минут, а потом и вовсе до формальной переклички. Никто не саботировал работу открыто — не было ни бунта, ни забастовки, за которую можно было бы зацепиться взглядом инспектора. Просто исчезло само чувство срочности, тот внутренний метроном, который заставляет людей вставать по будильнику, а не просыпаться, когда выспятся.

Особенно тревожил другой симптом. Люди стали меньше спать — но не от стресса, не от бессонницы в привычном, клиническом смысле слова. Наоборот: они проводили ночи со своими возвращёнными, разговаривали до рассвета, вспоминали давно забытые мелочи, иногда просто сидели рядом в тишине, держась за руки, как будто одно присутствие друг друга было ценнее любого сна. Утром они выглядели измождёнными — серая кожа, тени под глазами — и одновременно поразительно, неприлично довольными. Медицинский отдел зафиксировал снижение среднего времени сна почти у трети экипажа. И одновременно — снижение уровня тревожности по всем шкалам. Парадокс, который не укладывался ни в один учебник, который Андрей знал наизусть.

Он окончательно понял размер проблемы в гидропонном секторе — среди рядов зелени, под мягким фиолетовым светом ламп, пахнущим влажной землёй и хлорофиллом. Там сидел инженер Саймон Рид, немолодой уже мужчина с вечно обветренными от вакуумных работ руками, а рядом с ним — молодой человек лет двадцати, тонкий, светловолосый, склонившийся над каким-то ростком с той особой сосредоточенностью, которая бывает только у очень юных людей. Они разговаривали вполголоса, и Саймон улыбался — так, как Андрей не видел его улыбающимся ни разу за все недели совместной работы.

Андрей знал историю Рида. Слышал её ещё в первую неделю, как слышат такие истории на любой замкнутой станции — шёпотом, между делом, с неловкой паузой после. Сын Саймона погиб в аварии много лет назад. Молодой человек, сидящий сейчас среди рассады, был слишком, до жути похож на фотографию из личного дела — ту самую, что до сих пор висела скрепкой к архивной справке.

Андрей уже собирался тихо отступить, оставить их наедине с этим хрупким, украденным у смерти временем, когда услышал фразу, которая пригвоздила его к месту:

— Пап, ты ведь больше никуда не спешишь?

Саймон покачал головой, не отрываясь от ростка.

— Нет.

Простой ответ. Два слога. Но именно в эту секунду Андрей наконец понял, что именно его так гложет — не появление возвращённых само по себе, не их непостижимая природа, не тот факт, что всё это в принципе не должно быть возможным. Его беспокоило то, с какой скоростью и с какой готовностью люди переставали двигаться дальше. Как будто «дальше» вдруг перестало быть направлением, в котором вообще стоит смотреть.

Вечером он заперся у себя и поднял внутреннюю статистику станции за последние двадцать дней. Цифры выстроились в колонку, сухие и безжалостные, как обвинительное заключение:

Выполнение исследовательских задач: –18%. Среднее время сна: –27%. Уровень конфликтности: –61%. Количество добровольных заявлений на бессрочное пребывание: +300%.

Последняя строка заставила его перечитать отчёт дважды. Трое сотрудников подали официальные прошения остаться на станции навсегда — отказаться от ротации, от возвращения на Землю, от всей прежней жизни. Все трое, независимо друг от друга, объяснили это решение одной и той же фразой, будто сговорившись: «Здесь находится всё, что для меня важно».

Андрей отправился к Ирине Громовой.

Начальник станции сидела в своём кабинете, тесно заставленном экранами, среди которых мигал десяток непрочитанных отчётов. Она выглядела так, будто не спала несколько суток подряд — не от бессонной радости, как остальные, а от самой обычной, изматывающей усталости человека, несущего на себе слишком многое в одиночку. Когда Андрей молча положил перед ней распечатку статистики, она долго смотрела на цифры, не произнося ни слова.

— Ты думаешь, это опасно? — спросила она наконец, не поднимая глаз.

— А вы?

Ирина посмотрела на один из мониторов, где в замедленной, заикленной съёмке медленно вращалось изображение Резонанса.

— Опасно — неправильное слово.

— Тогда какое?

Она тяжело вздохнула — так вздыхают люди, которым приходится произнести вслух то, что они давно поняли, но всё ещё надеялись, что ошибаются.

— Соблазнительно.

Слово упало точнее, чем любое из тех, что подбирал для себя Андрей. Не угроза. Не насилие. Не вторжение. Соблазн — мягкий, добровольный, не требующий взлома ни одной двери, потому что все двери человек открывает сам, изнутри, с благодарностью на лице.

Поздно ночью, вернувшись в каюту, он застал Лею у иллюминатора — она сидела там, где сидела теперь почти каждый вечер, глядя на медленно клубящуюся тьму так, будто узнавала в ней что-то своё. Услышав его шаги, она обернулась.

— Ты снова работал допоздна.

— Кто-то должен работать.

Фраза вышла резче, чем он хотел, — с той хрупкой, острой интонацией, что появляется у людей на пределе. Лея не обиделась. Она никогда не обижалась, и это тоже начинало пугать его отдельно, само по себе.

— Ты боишься, что они перестанут жить, — сказала она тихо. Не вопрос — констатация.

Андрей замер посреди каюты.

— Разве это не происходит?

Она долго молчала, глядя куда-то сквозь него, в сторону иллюминатора.

— Может быть, — произнесла она наконец так тихо, что ему пришлось напрячь слух, — они впервые за долгое время чувствуют, что живут.

Эти слова ранили неожиданно сильно — глубже, чем он готов был признать даже самому себе. Потому что часть его — большая, упрямая, до отвращения человеческая часть — была с ней согласна. Он видел этих людей своими глазами. Видел, как боль уходит из лиц, годами носивших её, точно тяжёлый груз. Видел, как затягиваются раны, которые он сам, как психолог, годами учился считать неизлечимыми. Но одновременно видел и другое, невидимое остальным: будущее станции медленно, необратимо растворялось, как сахар в тёплой воде. Люди переставали тянуться к чему бы то ни было за пределами собственного, персонального чуда. Словно вся человеческая энергия, весь тот беспокойный, вечно недовольный настоящим порыв, что толкал вид к звёздам, потихоньку сворачивался внутрь — в тепло одной-единственной комнаты, одного-единственного лица напротив.

Перед сном он снова подошёл к окну. Тёмная масса Резонанса висела в космосе неподвижно и безмолвно, как и всегда, — и всё же в эту ночь Андрею впервые пришла мысль, которую он тут же попытался задавить, привычно, как давят непрошеное суеверие.

Что если Резонанс не уничтожает людей?

Что если он просто даёт им наконец повод остановиться?

А человек, который остановился, — подумал Андрей, чувствуя, как холодеют кончики пальцев, — это уже, в каком-то смысле, начало конца.

Глава 6. Человек без боли

Первым, кто произнёс это вслух, оказался не психолог. Не философ, специально обученный подбирать слова для необъяснимого. И даже не один из возвращённых, у которых, казалось бы, было больше прав говорить о границе между жизнью и смертью, чем у кого бы то ни было на станции.

Это был астрофизик.

Доктор Элиас Морено, сорок девять лет, один из ведущих специалистов «Орфея» — человек, посвятивший всю сознательную жизнь изучению объектов, лежащих далеко за пределами Солнечной системы, туда, где даже свет добирается тысячами лет. До появления Резонанса его считали одержимым работой в том особом, уважительном смысле, в каком одержимость прощают гениям. Теперь он почти не появлялся в лаборатории, и это отсутствие — красноречивее любых слов — заставило Андрея пойти искать его лично.

Они встретились в старом обзорном модуле — тесном, забытом отсеке в глубине станции, который почти перестали использовать после расширения основных секторов. Здесь пахло пылью и озоном от старой проводки, а не свежим воздухом центральных коридоров. Элиас сидел у иллюминатора. Рядом с ним — женщина лет сорока, с мягким, спокойным лицом и тёплой, немного усталой улыбкой из тех, что появляются у людей, проживших рядом с кем-то очень долгую и трудную совместную жизнь. Его жена. Умершая восемь лет назад от долгой болезни, название которой Андрей нашёл в личном деле, но не решился произнести даже про себя.

Когда Андрей вошёл, Элиас поднял голову — без удивления, без раздражения, будто ждал его.

— Психологическая проверка?

— Скорее разговор.

Элиас невесело усмехнулся уголком рта.

— Тогда садись.

Женщина вежливо кивнула гостю и без единого слова вышла в соседний отсек — так тактично, что Андрей на мгновение забыл, что перед ним не просто чья-то жена, а одна из самых больших загадок в истории человечества. За стеклом медленно плыл Резонанс — привычная уже тёмная константа, на фоне которой разворачивались все важные разговоры на этой станции. Андрей включил запись.

— Ты стал пропускать рабочие смены.

— Да.

— Почему?

Элиас долго молчал — не потому, что не хотел отвечать, а потому что явно подбирал слова с той же тщательностью, с какой всю жизнь подбирал переменные для своих моделей.

— Знаешь, сколько лет я прожил после её смерти?

Андрей молча ждал, чувствуя, что вопрос риторический.

— Восемь, — сказал Элиас и посмотрел на свои руки, лежащие на коленях, — крупные, тяжёлые руки человека, привыкшего работать с приборами. — А по ощущениям — несколько часов.

Тишина повисла между ними, густая, почти осязаемая.

— Всё это время я просыпался утром и вспоминал. Каждый день. Без единого исключения — понимаешь, о чём я? Не через день, не когда накатывало. Каждый день, с самого первого удара будильника.

Он посмотрел в сторону двери, туда, куда только что вышла его жена, — так, как смотрят на что-то, в реальность чего до сих пор боятся до конца поверить.

— Потом заставлял себя работать. Потом заставлял себя есть — буквально заставлял, по расписанию, как ребёнка. Потом заставлял себя разговаривать с людьми, улыбаться на конференциях, что-то отвечать на дежурные вопросы про самочувствие.

Голос его оставался ровным — слишком ровным, с той механической гладкостью, за которой психологи давно научились распознавать не спокойствие, а его противоположность.

— А потом в какой-то момент понял, что больше не живу. Просто поддерживаю работу системы. Как станция поддерживает давление в отсеках — автоматически, без всякого смысла внутри процесса.

Андрей ощутил знакомое профессиональное напряжение, натягивающееся где-то за грудной. Он слышал подобные исповеди десятки раз за годы практики. Но ни разу прежде они не заканчивались тем, чем закончится эта.

— А теперь?

Элиас улыбнулся — на этот раз по-настоящему, не той вежливой социальной маской, которую люди надевают на автопилоте, а улыбкой, идущей откуда-то из-под рёбер.

— Теперь она снова здесь.

Три простых слова. Но в них было столько облегчения — чистого, беспримесного, лишённого даже тени сомнения, — что Андрей невольно отвёл взгляд, будто подсмотрел что-то слишком личное.

Несколько долгих секунд ни один из них не говорил. Потом Элиас произнёс фразу, которая останется с Андреем ещё очень надолго — до самого конца всей этой истории:

— Если это сон, я не хочу просыпаться.

Где-то в глубине станции едва слышно, на грани восприятия, заворочались двигатели коррекции орбиты. Андрей выключил запись — щёлкнул тумблером резко, почти зло, — потому что дальнейший разговор перестал быть интервью в ту же секунду, как прозвучали эти слова.

— Ты понимаешь, что это может закончиться? — спросил он уже не как психолог, а как человек, которому вдруг стало по-настоящему страшно за собеседника.

— Конечно.

— И всё равно готов принять этот риск?

— Какой риск?

— Потерять её снова.

Элиас долго, очень долго смотрел на Резонанс — так долго, что Андрею начало казаться, будто ответа не последует вовсе. Потом астрофизик произнёс, почти шёпотом:

— Андрей...

Он впервые назвал его по имени — не «доктор Воронцов», не «психолог», а просто по имени, как называют человека, которого начинают считать кем-то близким.

— Я уже потерял её.

Эта мысль ударила сильнее любого контраргумента, который Андрей мог бы придумать за целую бессонную ночь. Потому что это была правда. Абсолютная, необсуждаемая правда, против которой любая логика оказывалась бессильна.

После разговора Андрей ещё долго сидел один в пустом, пыльном отсеке, слушая, как гудят где-то далеко системы жизнеобеспечения. Ему впервые стало по-настоящему ясно, насколько тяжёлой будет борьба с происходящим — если до неё вообще когда-нибудь дойдёт. Потому что происходящее действительно помогало людям. Не притворно, не поверхностно, не

как временное обезболивающее. По-настоящему, до самого основания. А значит, любая критика Резонанса автоматически начинала звучать как защита страдания. Как адвокатская речь в пользу утраты. В пользу боли. Он прекрасно понимал: подавляющее большинство людей на этой станции никогда добровольно не примут такую позицию — и, будь он на их месте, вероятно, тоже не принял бы.

Вернувшись в жилой сектор, он застал Лею у двери своей каюты. Она сидела прямо на полу, спиной привалившись к переборке, обхватив колени руками, — поза, в которой было что-то по-детски беззащитное, совсем не вязавшееся с её обычной спокойной уверенностью.

— Ты поздно, — сказала она, поднимая на него глаза.

— Был разговор.

— Тяжёлый?

Он молча кивнул. Некоторое время они просто молчали вдвоём в тускло освещённом коридоре, и это молчание было на удивление комфортным. Потом Лея неожиданно спросила, склонив голову набок, с той же детской, обезоруживающей прямоотой:

— Люди действительно так боятся счастья?

Андрей внимательно посмотрел на неё. Вопрос прозвучал абсолютно искренне — не риторически, не с подвохом, а так, будто она в самом деле не понимала ответа, будто это была настоящая, зияющая прореха в её понимании человеческой природы.

— Нет.

— Тогда чего они боятся?

Он задумался надолго, подбирая слова с той же осторожностью, с какой минуту назад подбирал их Элиас.

— Иногда мы боимся, что счастье потребует слишком высокую цену.

Лея нахмурилась — и эта морщинка между бровей была всё такой же, до боли знакомой.

— Но цену всегда платят за страдание. Не за счастье.

Андрей ничего не ответил, потому что именно в эту секунду его настигло осознание — резкое, холодное, как ледяная вода за шиворот. Лея прекрасно понимала боль. Понимала утрату, понимала любовь во всей её сложности. Но она словно органически не понимала ценности ограничений — самого того факта, что не всё нужно исправлять, что не каждая рана требует немедленного лечения. Как будто для неё, по самой природе её нового существования, отсутствие страдания было единственным разумным, нормальным состоянием мира, а всё остальное — просто досадной инженерной недоработкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.